

Глава 1

Таня расплакалась, едва затихли наши стоны.

Я лежу рядом. Во мне нет ни сочувствия, ни раздражения. К липкой простыне меня придавило равнодушие.

До этого я всегда пытался подобрать нужные слова и каждый раз ошибался. Вначале я отучил себя разбрасываться обещаниями, что все будет хорошо. Немного позже в расход пошли уверения справиться со всем вместе. Лишь один-единственный раз я предложил смириться и жить, как получается, о чем тут же пожалел. Все мои слова вызывали ярость и раздражение, но попыток я не оставлял. Однако теперь решил промолчать.

Сквозь шторы пробивается луч света от фар. Он пересекает потолок и ускользает за дверь в соседнюю комнату. Я встаю и следую за ним.

За порогом громадная мастерская, освещенная желтым светом уличного фонаря. Мольберт

накрыт брезентом из теней. Напротив табуретка с палитрой. Повсюду картины — на стенах, в углах и на тумбочке. В этой комнате даже присесть негде, даже кресла заняли холсты. Это их комната. Здесь мне не место.

Ногой цепляюсь за рамы, сваленные под стол. Несколько из них съезжают на пол. Я нагибаюсь, чтобы положить их на место, и замечаю среди них недавно пропавшую картину. На ней мы с Таней сидим на красном диване напротив зеркала. На переднем плане изображены наши затылки. За ними — отражение, на котором мы, прильнув друг к другу, скромно улыбаемся. С краю от меня лежит книга, а в ногах у Тани изгибается альбомный лист. С подлокотника на нас смотрит рыжий кот Пим.

Закончив эту картину, Таня произнесла удивительные слова: «Друг в друге мы видим себя и наш маленький мир». Это было пять лет назад, когда мы начали встречаться. А сейчас она похоронила эту работу под грудой рам.

На кухне меня встречает Пим. Он караулит холодильник.

Кота мы назвали в честь Пименова, к живописи которого тот явно был равнодушен — будучи котенком, он изодрал иллюстрации этого советского художника. Для нас так и осталось загадкой, был ли это протест против соцреализма или таково проявление симпатии у кошачьих. Впрочем, и у людей по-

рой не понятно, где кончается любовь и начинается ненависть.

— Ничего, приятель. Скоро она успокоится, и у нас все наладится, — говорю я рыжей морде.

Как же я рад, что коты не обижаются на слова.

Набрав кружку воды, я возвращаюсь в спальню.

Таня по-прежнему плачет. Предложить ей попить будет невероятной глупостью. Разве вода может помочь? Так и продолжаю стоять с кружкой в руках.

Таня вцепилась в мою подушку и теперь размазывает по ней слезы, сопли и слюну. Надо прилечь рядом, обнять и не отпускать. Но вместо этого я сажусь на край кровати, разом осушаю кружку и натягиваю трусы.

Иду в ванную.

Холодная вода из-под крана обжигает лицо. Затем еще и еще.

В полотенце остаются последние остатки вязкой темноты из спальни. Но там ее еще полно. Я не могу туда вернуться.

Иду на кухню, ведь это самая дальняя из комнат. Но слизкие тени уже и здесь. Тусклая лампочка им нипочем. Боятся они только огненного Пима, но он защитит меня не может. Надо бежать.

Джинсы мои остались у кровати, поэтому обхожусь трико. Его нахожу в гостиной на диване. Только вот среди разбросанных вещей я не могу отыскать

футболку. Но она мне попадает в корзину для грязного белья. Там же находятся носки.

Я накидываю пальто и выхожу в подъезд.

Пока верчу ключом, пытаюсь почувствовать стыд воина, бежавшего с поля боя. Но его нет. Как нет и разочарования от его отсутствия.

Уже давно я ничего не стыжусь. И, кажется, утратив эту слабость, я лишился чего-то человеческого.

На лестничной площадке этажом ниже я встречаю Аркадия Петровича. Пожилой профессор поднимает на меня грустный взгляд и поправляет очки. Вечерами он часто читает в подъезде, выкуривая несколько сигарет. Мы так часто с ним общались, что теперь наш разговор может ограничиться лишь одним взглядом — нам сразу все становится понятно. Вот и сейчас я понял, что у него вновь колет в боку, журнал отказал в публикации, а жена обвиняет чуть ли не в распятии Христа. Должно быть, и он все понял, раз так отрывисто кашлянул.

Спускаюсь вниз и выхожу во двор.

Позади хлопает дверь. Кажется, что впервые я открыл ее перед Таней совсем недавно. Тогда мы еще не были знакомы. Просто я шел к другу на новоселье, а Таня топталась у подъезда. Она все никак не могла справиться с картинами, сверток с которыми норовил выскочить из ее рук.

Мне вспоминается начало той зимы.

Снег хрустит под ногами. Ветер играет с тенями. Лампочка над крыльцом освещает забавную пантомиму — девушка борется с громадным свертком. На ней берет. Под ним ласковый взгляд. А еще скромная улыбка ребенка, которого поймали за хулиганской выходкой, но он уже задумал новую пакость. Я затащил ее поклажу в квартиру и остался там.

Друг уже успел съехать, а я все еще здесь.

Холод пробирается под тонкое пальто. Хотя весна и получила прописку в наших краях, переезжать она не спешит. Без кофты можно околеть. Благо идти совсем недалеко.

Я миную двор и выхожу на пустынную улочку. Немного пройдя, попадаю напрямиком на гудящий главный проспект. Тишина осталась за углом, побоявшись пойти следом.

Наш дом, наверно, зачарован. Он, должно быть, находится где-то на окраине, но все его жильцы, сделав пару шагов, переносятся в центр. Но с виду он совсем обычный, хоть и первый в городе был подключен к централизованной канализации. Столь значительному событию Маяковский посвятил стих, в котором упомянул римские акведуки.

Когда-то этот дом возвестил о начале новой эпохи, однако сейчас его фасад разрисован, а в бока здания впились блохи кондиционеров.

Скользу до светофора. Горит красный. Все смотрят под ноги, а я гляжу на огромную женщину с огромной грудью. Плакат с рекламой нижнего белья. Мне жаль бедняжку. Сидит в одних трусиках и бюстгальтере посреди уральских снегов. Еще и улыбаться заставляют.

Моргает желтый, загорается зеленый.

Я перебегаю дорогу, обгоняю одиноких прохожих и заваливаюсь в бар.

Внутри прохладно, а я в одной футболке. Остаюсь в пальто.

За бутылку крафтового пива берут приветствие и полторы сотни рублей. Я усаживаюсь за столик и осматриваюсь.

Обычно маленький бар набит молодой творческой интеллигенцией, а точнее, желающими сойти за таковую, не тратя больших денег. Ведь глубина человеческой души измеряется разнообразием выпитых напитков, а значит, пить нужно как можно больше и как можно дешевле. Но в этот вечер мало кто озаботился наполнением емкости духа.

Я делаю первый глоток.

Ну, понеслась душа в рай.

Будь здесь девушки, я бы к ним подсел. Поношенная футболка меня бы не смутила. Мой потрепанный вид могли счесть уделом успешного художника. Не смутили бы и мысли о Тане, ведь изменять я начал еще полгода назад.

Впервые это произошло во время пирушки у приятеля.

Незамысловатый разговор. Приоткрытые губы. Внимательный взгляд и ласковые пальцы. Этого оказалось достаточно. Я предложил сбежать к ней, и она согласилась. Видимо, уже тогда я смирился, что между мной и Таней все кончено.

Затем я сбежал с другими девушками, но не позволял себе встречаться с ними вновь. Тогда мне пришлось бы выбирать между кем-то из них и Таней, а бросить ее у меня не хватило бы сил. Как сказать ей, что теперь она одна? Лучше вцепиться в ее тонкую шею и сжимать до самого конца. Это лучше, чем выговаривать длинную фразу из избитых слов.

Черт, эти мысли отыскивали меня и здесь. Надо поскорей отвлечься.

Я присаживаюсь к парню в кожаной куртке.

— Ужасно дрянной вечер, не находите? — спрашиваю я.

На меня выпучивается пара шаров. Вместо ответа парень достает крест и целует его.

Похоже, тут интимное свидание, а я мешаю.

— Эй, парень, — ко мне обращается обросший высоколобый мужик. — О дряни можешь поговорить со мной.

Я плюхаюсь перед ним. У него узкие глаза и такие же узкие губы. Слипшиеся седые пряди спадают

на угловатое темное лицо. Из рукавов застиранной рубашки к бутылке тянутся худые руки.

— О какой дряни вы хотите поговорить? — интересуюсь я.

— О себе, — усмехается мужик.

Перед ним уже три пустых бутылки.

Значит, мне предстоит выслушивать причитания старого спившегося неудачника, у которого за плечами годы одиночества, а в боку — больная печень. Все эти истории похожи одна на другую. Я выучил их наизусть и уже готов делиться ими сам.

— Я успешный художник. Меня знают и в Питере, и в Москве. Даже за рубежом слышали обо мне. Бывает, звонят и лопочут на своем.

Неужели я ошибся?

Мужик наклоняется ближе ко мне.

— Знаешь, как я добился такой популярности?

Похоже, этот алкаш принял меня за начинающего художника и сейчас начнет поучать молодого.

— Я просто снял квартиру на отшибе. Еще там жил парень. Он был в розыске. Ему грозил срок за распространение наркотиков, но меня это нисколько не смущало. Главное же, чтобы в кошельке больше мелочи оседало, а с рыла там брали сущие копейки.

Слова мужика прерываются смачными глотками.

— Когда я заселился, то обнаружил, что вся квартира заставлена картинами. Оказалось, что до этого там жил нелюдимый художник. Потом умер. Как

и он сам, его картины оказались не нужны дочери. А может быть, она даже и не знала про них. Так или иначе, работы этого талантливого затворника оказались в моих руках... — мой собутыльник опускает голову. — Я рисую всю жизнь, но выходит лишь невзрачная хуйня. Но моего творческого чутья хватило, чтобы признать в найденных картинах шедевры. Я попробовал выставить их под своим именем и сразу же получил признание.

Мужик смотрит на меня, и его лицо искривляется улыбкой.

— Мне хотелось подшутить над собой и другими, но шутка затянулась. После двух выставок я вновь попробовал выставить свои работы. Мне хотелось скандала, но теперь эту мазню признали новой вехой в моем творчестве и продолжили хвалить. Понимаешь? Сначала я всех наебал, выставив гениальные картины под своим именем, а теперь меня наебывают, говоря мне, что моя мазня гениальна.

— Вы это рассказываете каждому собутыльнику в баре? Ваша откровенность вас погубит.

— Я надеюсь. За погибель!

Я чокаюсь с успешным художником, и мы пьем. Он обещает купить нам еще по одной бутылке, но не успевает и засыпает. Значит, придется веселиться за свой счет.

Иду к барной стойке. Пока расплачиваюсь, узнаю имя уснувшего собутыльника. Оказывается, это Петр

Воронцов. Можно подумать, есть два Воронцова — один открывает выставки, а другой напивается в барах. Никогда бы не догадался, что этот престарелый пьяница и есть тот самый гений с глянцевых страниц гламурных журналов. С кем бы я ни общался, все его хвалили. Это показалось мне странным, и я заподозрил неладное. Но правда оказалась не такой страшной, как я ожидал. Воронцов не совращал малолетних и не якшался с бомондом. Он просто создал иллюзию самого себя, тогда как все остальные создают иллюзии на холсте. Прощать ему нельзя другое: он отрубается после четырех бутылок пива. Для профессионального художника это непозволительно.

Я отхлебываю еще пива и осматриваюсь. В углу сидит группа очкастых парней. С ними девушка. Бородач крутит в руках виниловую пластинку, демонстрируя остальным красочную обложку. Он долго о чем-то рассказывает, пока остальные с восторгом передают пластинку из рук в руки. Дольше всех рисунком на ней рассматривает девушка. Кстати, единственная без очков. Интересно, почему все так боготворят винил? И почему он так заводит девушек? Пойду, узнаю.

Присаживаюсь к ним и задаю простой вопрос. Ребята опускают глаза. Теряется даже счастливый обладатель пластинки и прячет свои слова в бороде. До меня доносится что-то про чистый звук. Я прошу уточнить, чем он отличается от грязного. Ответе-

та я так и не получаю. Вскоре ребята разбегаются, и я остаюсь один.

До меня долетают обрывки фраз, а вместе с ними имена Лермонтова и Есенина. Разбрасывается ими компания за соседним столиком. Не люблю поэзию. Значит, пойду туда.

Подсаживаюсь к трем парням и начинаю возмущаться строгостью формы стиха. Они усмеваются и сравнивают эту форму с жердями, по которым стих взбирается вверх. Я продолжаю талдычить, что стихосложение ограничивает полет мысли. Вскоре и эти ребята разбегаются. Остается лишь один. Он поправляет кепку и улыбается. До чего странный тип. Зачем носить кепку и всем улыбаться?

Парень зовет в другой бар, и мы выходим на улицу. Уже ночь. Промозгло. Я запоздало вспоминаю, что под тонким пальто только футболка, но холод мне уже не страшен.

Мы идем по безлюдному тротуару. Свет от фар опрокидывает наши тени. Минуем филармонию, к боку которой жметя бледный ларек в попытках согреться. Я внезапно признаюсь в любви к Маяковскому. Наверное, вспомнил, как тот воспевал канализацию в нашем доме.

Мой провожатый резко поворачивает в сторону. Перед нами во мраке повисла светящаяся дверь. Можно подумать, это портал в другой мир, но за ней скрывается очередной бар. Нас встречает панкушка

с длинным белым носом и короткими розовыми волосами. Она обнимает нас. Говорит, что соскучилась по парню в кепке, а тот разводит руками — мол, был в Питере.

Пока мы усаживаемся за стол, барменша запирает дверь. Закрывшись, она исчезает за стойкой и возвращается к нам уже с полными стаканами. Пока опустошаем их, я узнаю, что панкушка махала кувалдой на железной дороге, а под кепкой скрывается организатор выставок. По его словам, он работал даже в питерских музеях. Правда, ни одного знакомого названия я так и не услышал.

Перед глазами все начинает размываться. На какой-то момент взгляд застилает тьма, а когда я выныриваю обратно, то уже не могу понять, как меня сюда занесло. В грязной футболке и потертом трико я сижу где-то посреди промозглой весны и не знаю, где мой дом и хочу ли я в него вернуться.

Пошатываясь, я направляюсь к двери и прошу ее открыть. Ко мне подплывают розовые волосы и кепка. Острый нос царапает щеку, а крепкие пальцы сжимают ладонь. Я знаю, что все к утру забуду, и прошу у провожатого номер телефона. Затем выскальзываю в снежную ночь.

Пока иду, успеваю забыть...

Пробуждение застает меня на диване. До кровати я так и не дошел. Чувствую, чем-то накрыт. Наверное, Таня набросила плед. А, нет. Это просто пальто,

которое я так и не смог снять до конца — увяз в одном рукаве.

Из складок ткани доносится визг будильника. Проведя по экрану мобильного, успокаиваю его.

Поднимаюсь. В голове колыхается тяжесть. Весь мир шатается.

Забираюсь под душ и сажусь прямо на холодный чугун ванны. Сгорбившись, я чувствую, как с меня стекают остатки сна.

На кухне меня встречает Пим. Таня тоже здесь, но она не встречает — сидит за столом, не поднимая взгляда.

Было бы большой ошибкой считать, что люди всегда молчат одинаково. Тишина, возникшая посреди разговора, может подарить умиротворение, а может оказаться невыносимой. И самая гнетущая тишина скрывается именно в утреннем молчании.

Я поспешно нарезаю хлеб, хватаю сыр и размешиваю растворимый кофе так, что летят брызги. Сгребаю завтрак на тарелку и улепетываю в гостиную. Там прячусь за монитором.

Ведь нельзя точно сказать, что мешает ей взглянуть на меня. Вероятнее всего, она обиделась. Я не стал выслушивать ее рыдания и вместо этого удрал в бар. Решил выпить, а ее оставил одну посреди темной пустой квартиры. Было бы лучше, попади я под колеса машины... Хотя, возможно, она стыдится вчерашних слез. Таня всегда была непредсказуемой.